

роны и феодальной связью западно-европейских владельцев — с другой; потом родовые отношения на Руси уступают место государственным, и Русь соединяется в Московское царство, как на западе из феодальных владений составляются большие государства.

Излишне говорить, что вновь вышедший том «Истории России» своим достоинством равняется предшествовавшим частям огромного труда г. Соловьева; излишне также повторять, что труд этот составляет, вместе с изданиями Археографической Комиссии, важнейшее приобретение нашей исторической науки в течение последних пятнадцати лет, и в скором времени мы надеемся подробно рассмотреть его отношение к предшествовавшим трудам и показать, насколько двинута вперед наука новейшими исследователями, в главе которых стоит г. Соловьев.

Историческое значение царствования Алексея Михайловича. Сочинение П. Медовикова. Москва. 1854.

Сочинение г. Медовикова не отличается ни полнотою, ни особыми достоинствами изложения; оно не уясняет ни одного вопроса. Что давно было известно всякому, хотя несколько занимавшемуся русскою историею, только то и повторил автор в своей книге; *нового не сказал он ничего; факты изложены в таком объеме, что некоторые отделы главы о царствовании Алексея Михайловича в «Руководстве» г. Устрялова полнее соответствующих отделов книги г. Медовикова; другие события рассказаны полнее в таких общеизвестных сочинениях, как «История российской церкви».* Поэтому казалось бы, что не может быть оснований считать сочинение г. Медовикова заслуживающим большой похвалы. Правда, написано оно добросовестно; автор пересмотрел все важнейшие издания, в которых мог найти что-нибудь нужное для себя; ему хорошо известны не только отдельные сочинения, но и статьи периодических изданий, касающиеся его предмета. Он знает литературу русской истории. Однако, если не знать литературы своего предмета — важный недостаток, то знать ее не есть еще заслуга со стороны человека, решающегося писать ученое сочинение. Но не это одно достоинство мы находим в труде г. Медовикова; есть в нем качества более редкие — отсутствие ученого самолюбия и опрометчивых претензий на то, чтобы «выставить предмет в новом свете; открыть в нем новые стороны, поднять новые вопросы, показать неосновательность, односторонность прежних объяснений», одним словом — придумать какое-нибудь «новое воззрение на предмет».

Эти качества действительно довольно редки. Сколько есть ученых, не справедливых к своим предшественникам! Недавно мы указали один подобный случай, говоря о мелочных критических замечаниях на драгоценный труд г. Снегирева¹. А таких приме-

ров сотни. Один из достойнейших наших ученых считает нужным анатомически разбирать «Историю Государства Российского», отыскивая, не взял ли Карамзин у Щербатова или Хилкова мысль о том, что «просвещение смягчает нравы», не заимствовал ли он у Татищева или Болтина понятия о том, что Святослав был отважный воитель, а Олег привел в трепет византийцев². Зачем он тратит время на подобные сближения? Что «История Государства Российского» имеет свои недостатки, было уже доказываемо двадцать лет назад Арцыбашевым и Полевым; а теперь напрасно и говорить об этом; что Карамзин пользовался трудами своих предшественников, также вещь, известная всякому, и столь же естественная, как и то, что ученые, занимающиеся ныне русскою историею, пользуются трудами Карамзина и, например, Эверса, который уже давно говорил о развитии государственного быта из племенного. Наконец, что Карамзин занял у Щербатова мысль о благодетельном влиянии просвещения на нравы, столь же очевидно, как и то, что новейшие математики заняли у Магницкого правила сложения и вычитания. Неужели нужно анатомировать историю Карамзина для того, чтобы наши читатели лучше могли постичь превосходство наших собственных трудов? Уже одно опасение, что читатели наши могут притти к такой мысли—надемся, несправедливой—относительно наших чувств, должно было бы удержать нас от бесполезного труда, ставшего нас в самое неловкое положение. Приведем другой пример. В последнее время стали довольно часто являться прекрасные—может быть, несколько сухие, недостаток второстепенный—монографии по истории русской литературы. Не будем исследовать, каким именно условиям обязана своим происхождением страсть к ним; быть может, мы нашли бы, что необходимость, заставившая обратиться к библиографическим изысканиям, не так отрадна, как благородная и самоотверженная любовь к труду на пользу русской литературы, поддерживающая предавшихся ему в работе утомительной и неблагоприятной—каково бы ни было происхождение трудов, результаты их прекрасны. Но скажите, во многих ли из этих произведений найдете вы веяние естественной симпатии к трудам предшественников? Сто раз повторяется: «Евгений ошибочно говорит», и едва ли раз найдется фраза: «Евгению обязаны мы...» Нет, в большей части этих монографий слышится уверенность авторов, что до них ничего, ровно ничего не было сделано, что они делают что-то небывалое, неслыханное, что они новые Анкетили, открывающие Зендавесту, о которой никто не ведал до сих пор. Нет, достойные, но забывчивые исследователи: были прежде вас люди, с которыми не сравнились еще вы ни обширностью вашего значения, ни значением ваших трудов—это не стыд вам, потому что вы трудитесь только годы, а другие трудились десятки лет, и, быть может, вы со временем станете выше их. Но то будет еще впереди, а теперь... теперь гордитесь преданностью делу сво-

ему, а не тем, что не было никогда людей, подобных вам. Были они, вы должны это знать лучше всех нас, вы должны знать, что, например, в «Очерках русской литературы»³ одним человеком, среди десяти других, важнейших дел, собрано больше материалов для истории русской литературы, нежели получили мы до сих пор от всех вас вместе. Назвав Пушкина, мы, быть может, напомним вам о другом деятеле на поприще истории русской литературы⁴. Не говорим уже о трудах Евгения. «Но его словари наполнены ошибками». Хорошо было бы, если б у вас нашлось не в десять раз более ошибок, хотя вы сделали во сто раз меньше.

Отчего происходит эта придирчивость, это стремление показывать, что заслуги наших предшественников были не так велики, как воображают неспециалисты? Мы никак не думаем, чтоб это происходило от каких-нибудь сознательных побуждений, и решительно отвергаем всякие толки о неблагодарности, непризнательности, неуважении, будучи твердо убеждены, что подобные чувства очень редко созмещаются с характером ученого человека, по самой натуре своей чистым; гораздо основательнее объяснять дело мелочным преувеличением важности собственных открытий, и эту мелочность приписывать преимущественно чистосердечному, но слишком восторженному увлечению; а причину увлечения мелочами надобно, разумеется, считать то, что увлекающиеся мало успели еще сделать истинно важного. Свое каждому дорого; и кому принадлежит еще одно только не слишком важное, тот почти всегда поставляет в этом неважном чрезвычайную важность.

Помните ли время, когда вы слушали лекции? Как часто казалось вам тогда, что два часа назад выслушанная вами лекция удивительно проясняет и изменяет взгляд на целую науку, что в ней-то именно и есть ключ к правильному пониманию всей науки. Потом вы увидели, что так казалось вам просто потому, что вы еще мало знали науку, что в науке сотни понятий гораздо важнейших, нежели казавшиеся вам ее краеугольной основой; вы увидели, что сущность русской истории, например, заключается не в одном вопросе о происхождении варяго-русов или в доказательстве древности летописей. Припомните годы, еще более далекие, когда вы учились русской грамматике; не правда ли, что, выучив наизусть разделение имен существительных на два склонения и осьмнадцать окончаний, вы несколько времени экзаменовали всех ваших знакомых и готовы были считать невеждою первого ученого в мире, если он не мог сказать, к 10 или к 11 окончанию принадлежит слово «рука»? Но когда вы начали учиться по-латыни, ваша гордость наслаждалась истинными триумфами, и вы не раз восторжествовали над своим учителем, доказав ему, что кроме десяти слов мужеского рода на букву х, перечисленных в учебном вашем руководстве, есть еще два или три таких слова, найденные вами в большой грамматике Цумпта? О, как после этого выросли вы в собственных глазах и в глазах товарищей! ре-

шено было всеми единогласно, что вы знаете по-латыни лучше самого учителя, и вы сами чувствовали в душе, что это правда!

Но так как речь зашла о латинской грамматике, то нам хочется привести анекдот из старинной «Латинской грамматики, составленной по Брёдеру Н. Кошанским»: к этой грамматике приложена небольшая хрестоматия, обильная занимательными рассказами, и вот один из них, называющийся в подлиннике *Sato et gusticus* — «Катон и поселянин».

«Одному римскому поселянину случилось узнать, что через их деревню будет проходить Катон, знаменитый своей ученостью. Он вышел посмотреть на этого известного историка. Но Катон, подошедши к поселянину, спросил его: «Скажи мне, мой друг, как называется соседняя деревня и какую дорогой надобно мне идти туда?» После этого поселянин часто говаривал: «Вот, сказывали, будто Катон ученый человек! а он не знает даже имени соседней деревни и дороги в нее».

Мы уверены, что редкий из ученых, достигших той же высоты знания, на которой стояли его предшественники, не уважает их в глубине души. В каждом большом труде найдется много недостатков и ошибок; это он будет знать по собственному опыту.

Итак, мы скавали, что сочинение г. Медовикова очень выгодно отличается от многих других тем, что автор не старается поколебать доверие к трудам своих предшественников для того, чтобы возвысить контрастом достоинство собственного труда. Другая, не менее приятная черта сочинения — отсутствие стремления придумывать новые воззрения и ставить эти воззрения краеугольным камнем здания, воздвигаемого автором. А этот недостаток также очень сильно вредит достоинству и основательности очень многих ученых трудов. Примеров множество.

Один ученый открывает понятие об «изгойстве»⁵ и на нем основывает построение целого периода нашей истории, едва ли даже не всю систему своих понятий о древнем нашем быте; не решаем, правильно или нет объясняется ныне слово изгой, но, во всяком случае, встречается оно так редко, что понятие, им выраженное, едва ли могло играть важную роль в истории. Другой отыскивает слово «подручник», всего только один раз попадающееся в наших летописях и грамотах, и опять везде видит «подручников»; третий открывает, что светлый значит первоначально «быстрый», и также при всяком удобном случае основывает свои труды на тождестве понятий быстроты и света⁶; четвертый находит, что какой-нибудь малоизвестный писатель был умный человек (хотя это еще нуждается в более ясных доказательствах, нежели то, что у него встречаются мысли, попадающиеся во всякой без исключения книге того времени), и выводит из этого, что он был великим писателем, — как будто бы всякий умный человек непременно должен быть замечательным писателем. Пятый идет далее и утверждает, что мы не имеем понятия о старинной нашей

литературе, потому что до появления его изысканий не знали, в 1757 или 1756 году написана какая-нибудь ода Сумарокова, хотя и он этого не мог узнать. Одним словом, на основании всех этих открытий оказывается, что мы ничего не знали ни о древнем русском быте, ни о русской истории, ни о русской литературе, хотя к тем горам материалов, которые собраны были и собираются без помощи этих ученых, они едва еще успели прибавить несколько песчинок; оказывается, что на основании новых открытий должен совершенно измениться взгляд на нашу историю и литературу; может быть, он должен измениться, но мы еще ожидаем, пока нам это докажут более важными трудами и открытиями.

Г. Медовиков не имеет подобных стремлений открывать неслыханное, показывать невиданное; он не думает, чтобы наши прежние понятия о значении царствования Алексея Михайловича были совершенно несправедливы, и что ему необходимо было заботиться изменить их. В самом деле, вот важнейшие «положения», принимаемые г. Медовиковым:

«Царствование Алексея Михайловича по своему характеру принадлежит еще вполне древней (точнее было бы выразиться: старой или старинной) Руси, хотя и появляются некоторые признаки скорого наступления эпохи преобразований. Перед эпохой преобразования древняя русская жизнь исчерпала себя вполне.

«Возвышение патриаршей власти в Никоне обуславливалось как его энергической личностью, так и событиями в России в конце XVI века; но оно противоречило прежним у нас отношениям духовной власти к светской.

«Присоединение Малороссии к Московскому государству было результатом исторической необходимости; личностью Хмельницкого только ускорено событие, которое рано или поздно долженствовало совершиться. Первое начало отменению особого быта Малороссии положено уже в царствование Алексея Михайловича».

Читатели видят, что это — положения общепринятые и не подлежащие спору. Если бы сочинение г. Медовикова было простою компиляцией, составленною при помощи двух-трех книг, не опиравшеюся на большой запас сведений и на основательное углубление в предмет, — не было бы ничего особенного и в том, что автор не выставил оригинальных результатов; но автор трудился над своим сочинением прилежно и много, узнал свой предмет хорошо и, однакоже, не почел за нужное избрывать эффектные воззрения, которые поражали бы своею новизною, признавая удовлетворительность прежних трудов — это прекрасно и довольно редко.

Из наших слов не следует, однако, чтобы похвалами книге г. Медовикова хотели мы унижать ученое достоинство каких-нибудь других трудов: несмотря на свои недостатки, о которых мы говорили затем, чтобы яснее выставить на вид достоинства разбираемой нами книги, несмотря на преувеличивание неважных открытий и мелочную критику предшествовавших трудов или слишком гордое молчание о них, сочинения, от которых эта книга

выгодно отличается в одном отношении, стоят несравненно выше ее во многих других отношениях и гораздо важнее по своему значению для науки. Мы только хотели бы убедить, что если книга, не замечательная ни в каком другом отношении, становится достойной уважения и полезною через осмотрительность выводов и беспристрастие автора к себе и другим, то еще больше могли бы выиграть от этих качеств другие труды, уже по своему содержанию имеющие важность. И если один ученый имеет достаточно скромности, чтобы не обнаружить никаких притязаний на оригинальность воззрений, то гораздо легче могли бы устоять против увлечения подобными стремлениями те ученые, которым удалось на самом деле открыть что-нибудь новое и замечательное.

Не следует из наших похвал скромным достоинствам книги г. Медовикова и то, чтобы мы утверждали, будто бы русская история уже достаточно разработана и все важнейшие задачи ее решены удовлетворительным образом. Если история древнего классического мира, столько веков разрабатываемая соединенными усилиями всех образованных народов, еще беспрестанно уясняется и обогащается новыми воззрениями, то странно было бы воображать, что в каких-нибудь пятьдесят лет ученая разработка русской истории достигла окончательного совершенства, и мы должны находить выработанные воззрения на ее события вполне основательными и достаточными. Напротив, разработка русской истории, точно так же, как и разработка истории русской литературы, только что начинается; удовлетворительным образом разрешены еще немногие вопросы, и то преимущественно касающиеся внешней, фактической истории; очень многие из важнейших вопросов остаются еще нетронутыми; особенно должно сказать это о вопросах внутренней истории жизни русского народа. Мы признаем необходимость новых воззрений и объяснений, но с тем условием, чтоб они были полней и основательнее прежних. Да и как не признавать, когда относительно интереснейших вопросов мы до сих пор принуждены довольствоваться столь же неопределенными и неудовлетворительными объяснениями, как, например, следующее, которым начинается книга г. Медовикова и которое заимствовано из круга новейших понятий о русской истории:

«В половине XVII века умолкает древнее летописание, вмещающее в себе заветные предания нашей старины с того времени, когда пошла русская земля, представляющее в непрерывном ряде сказаний судьбы нашего отечества с самого водворения в нем государственного начала. Священная повесть временных лет прекращается, как бы сделав последнее усилие в «Летописи о мятежах» и «Новом летописце». Причин такого явления должно искать... в перевороте, который приготавлился в государственной и общественной жизни нашей, в стремлении личности вырваться из оков, наложенных на нее бытом древней Руси. Под влиянием личного начала безыменные сказания летописцев — отшельников, трудившихся единственно «любве ради господу богу и своему отечеству», стали уступать место запискам очевидцев, которые в повествование свое вносили собственные взгляды на предмет. (Итак, вместо летописей являются мемуары? Нет — их и нас не было в

XVII веке, это говорит и г. Медовиков на следующей строке.) Но, к сожалению, XVII век представляет, и в этом роде, слишком мало исторических памятников».

Или, лучше сказать, ни одного, до самого конца царствования Алексея Михайловича. Как же стремление писать мемуары, еще не рождавшееся, могло заставить покинуть летописи? Положим, что причина прекращения летописей, указываемая Татищевым, недостаточна; хотя и надобно предполагать, что этот основательный историк говорил не наудачу, и хотя с ним соглашался Шлёцер; но объяснение, которым теперь заменили этот старый взгляд на сущность дела, очевидно не выдерживает критики. Отдельные исторические сказания писались и прежде XVI, не только XVII века; наши летописи наполнены ими; довольно много их сохранилось и отдельно от летописей; почему же до XVII и, особенно, до XVI века не мешали они продолжению летописей? С другой стороны: первые три четверти XVII века представляют менее отдельных сказаний, нежели предыдущие времена; итак, не летописи заменились сказаниями, а, напротив, сказания подверглись в XVII веке влиянию той же причины, которая уничтожила летописи. Если не ошибаемся, давно уже было замечено подобное ослабление и замирание всей литературной деятельности в Руси XIII—XIV, особенно XV—XVII века. Так, например, сличив «Сказание о Мамаевом побоище» с «Словом о полку Игореве», все увидели, что произведение XV века бледное и слабое подражание произведению XII века; подобно поэтической деятельности уменьшилась и проповедническая: от XII века мы имеем Кирилла Туровского, в XIII был еще Серапион; позднейшие проповедники наши далеко уступают своим предшественникам, и, наконец, при Алексее Михайловиче исчезли уж и следы обычая говорить проповеди собственного сочинения. Точно то же и с летописями — с течением времени становятся они все суше и суше, все менее и менее замечается в летописях умения рассказывать и исторического такта; все последующие летописи далеко ниже Несторовой по своему достоинству. Итак, замирание и прекращение летописей надобно объяснить не из того случайного обстоятельства, что они были безыменны, потому несовместны «с стремлением личности вырваться из оков» этой безыменности: если бы дело зависело только от этого, вместо летописей безыменных явились бы у нас летописи с надписью имени летописца. Нет, причины явления, о котором говорит г. Медовиков, надобно искать гораздо глубже: вся общественная и умственная жизнь в XIV—XVI веках подверглась влиянию неподвижности, застоя, оцепенелости, окончательным результатом чего была необходимость преобразований Петра Великого.

В первых же строках книги г. Медовикова, представляющей свод всех сделанных до него изысканий и воззрений, мы нашли

пример того, как необходимы новые изыскания и воззрения; и почти каждая из последующих страниц могла бы служить доказательством того же самого. Остается только желать, чтобы силы деятелей на поприще русской истории были соразмерны трудности вопросов, которые ожидают решения.

О средстве языка славянского с санскритским. Составил
А. Гильфердинг. Спб. 1853.

Об отношении языка славянского к языкам родственным.
Исследование А. Гильфердинга. Москва. 1853¹.

Первое из поименованных здесь сочинений г. Гильфердинга в первый раз напечатано в «Прибавлениях» к «Известиям Второго Отделения Академии Наук» и потом издано отдельной книгой; второе есть не что иное, как продолжение первого, и заключает в себе выводы об отношении языка славянского к языкам родственным.

С тех пор, как языкознание, освободясь от практических целей, сделалось самостоятельной наукой, в сравнительно-исторической части этой науки был большой пробел: не было основательно исследовано отношение языка славянского к санскритскому и к другим родственным языкам, т. е. к языкам индо-европейской отрасли. Это произошло оттого, что сравнительно-историческое языкознание было разрабатываемо преимущественно немецкими писателями, мало знакомыми с языком славянским. Дополнить такой важный недостаток есть обязанность славянских и преимущественно русских ученых. Отношение славянского языка к санскритскому и другим родственным языкам интересно не только для русской, но и для европейской науки. На таком-то видном поприще является с своими исследованиями г. Гильфердинг. Уже за одну мысль приняться за эти исследования должна быть ему благодарна наука. И г. Гильфердинг выполнил эту мысль хотя далеко не вполне, что и невозможно с первого раза, но с добросовестным трудолюбием и знанием дела.

В первом сочинении своем г. Гильфердинг сравнивает звуки и их соединения в языке санскритском со звуками и их соединениями в языке славянском.

Санскритский язык имеет только три простых гласных: *a*, *i*, *u*. С течением времени из гласной *a* выделяются два новых звука *e* и *o*, из которых первый образует как бы переход от *a* к *i*, второй — от *a* к *u*. В противоположность другим языкам европейским (кроме готского и литовского), давшим перевес новым гласным *e* и *o* над древними *a*, *i*, *u*, славяне в значительном большинстве случаев удержали звуки первобытные: можно принять, что на два славянских корня, сохранивших древние гласные, приходится один, в котором они перешли в *e* или *o*. Мы заметим здесь, с своей стороны, что для определения количественного отношения гласных